

П. Вайль, А. Генис

Хартия вольностей. Пушкин

Благодаря Пушкину, мы знаем массу вещей, имеющих к нему отношение самое косвенное. Пушкинская эпоха не ощущается отдаленной историей. Есть в ней некая тревожная актуальность, некая взволнованная занимательность, из-за которой нам интересно все, что окружало Пушкина — кибитки, наряды, чины, рецепт брусничной воды (на четверик брусники три ведра воды).

Ученые так добросовестно изучили этот период, что он кажется самым ярким в нашем прошлом, что, может быть, и несправедливо. История часто подчиняется капризам судьбы. Мы, кажется, можем проследить каждый день в жизни Нерона, но путаемся в биографиях куда более достойных Траяна и Адриана.

Еще лучше изучен сам Пушкин. Наверное, нет другого русского человека, чью бы жизнь уже два столетия так прилежно рассматривали под всеми мыслимыми углами. Кстати: бесконечность этого занятия говорит не столько о Пушкине, сколько о загадке человеческой индивидуальности вообще.

Образ Пушкина давно уже затмил самого Пушкина. Его творчество стало поводом, оправданием для самостоятельного существования этого шедевра гармонии.

Следить за эволюцией Пушкина, за ростом его гения значит приобщаться к тайне образцовой жизни. В небывалом в русской литературе органическом слиянии человека и поэта и заключается уникальность Пушкина. Но уникальность означает и противостояние потоку, населению, даже самой концепции национальной литературы.

Пушкина выделяет его божественный эгоизм. Не зря он совершенно чужд жизнеучительству — Пушкин строил свою жизнь, а не чужую. Вот это исключительное, по крайней мере до Чехова, осознание ценности личности, индивидуальности, неповторимости, штучности человека — и есть черта, обрекая Пушкина на долгое одиночество в нашей классике.

Ведь вот что, например, писал Достоевский, который всегда мучался проблемой свободного человека: «Последнее развитие личности именно и должно дойти до того, чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего Я, — это как бы уничтожить это Я, отдать себя целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Это-то и есть рай Христов».

Но этот высокий идеал был чужд Пушкину, и жертва, которой требовал Достоевский, была бы для него неприемлемой. Чужд был Пушкину и своеобразный русский «буддизм» с его страхом перед эгоизмом личного «я», в котором западные исследователи, например, француз Вогюэ, еще в конце прошлого века видели особенность нашей литературы.

Перед Пушкиным стоял другой идеал, который он и воплотил в стихах.

Пушкин — это, прежде всего, те две сотни главных стихотворений, которые и составляют корпус всех школьных изданий.

Не поэмы, не драмы, не повести, даже не «Онегин». Пушкин — поэт, автор стихотворений. Все остальное — следствие разветвления, усложнения или упрощения главного дела его жизни.

Поэма или повесть пишутся, лирические стихи — сопутствуют, являясь не фактами творческой биографии, а самой биографией. Может быть, в этом разница между писателем и поэтом: первый — автор произведений, второй — автор особого восприятия мира. В стихах нет героя, кроме автора. Стихи, как письма, интимны. Между поэтом

и читателем нет посредников в виде сюжета или образов. Все, что он хочет сказать, он говорит сам. Не Мазепа, не Дубровский, не капитанская дочка — сам Пушкин.

Самый обычный сборник хрестоматийных стихов Пушкина — это наибольшее приближение к тому, что называется «Пушкин». И если читать эту книгу подряд, в хронологическом порядке, то мы обнаружим в ней один из самых сложных и увлекательных романов русской литературы.

Черты классического романа этой книге придает естественная последовательность — от рождения поэта до его смерти. Эволюция главного героя — тема книги. От страницы к странице меняется герой, а вместе с ним и форма, в которой запечатлены эти перемены.

Конечно, каждое стихотворение по отдельности — законченное произведение, но внутри сборника они — главы одной книги.

Начинается эта книга со свободы. Это ключевое понятие для Пушкина. Двадцать лет он исследует разные виды свободы, с приключениями которой связаны все его страницы.

Вначале свобода называлась вольность. Причем для Пушкина-дебютанта это понятие еще мало отличается от тавтологического сочетания — фривольность.

В первых главах молодой автор озабочен больше всего своим статусом. Он рвется из «кельи» лица в настоящую взрослую жизнь.

Самые интересные взрослые того времени занимались любовью, стихами и политикой. Чтобы попасть в общество, Пушкин торопился перемешать эти вещи, видя путь к успеху не столько в правильности пропорций, сколько в густоте замеса.

Пушкин борется за свободу делать то, что уже делают другие. Вырвавшись из-под власти монашеского устава лица, он сразу — подпадает под влияние другого кодекса поведения — по-своему столь же строгого.

Как только автор становится автором, он входит в секту, поклоняющуюся Вольности. Пушкин темпераментно воспринял господствовавшие там правила: порядочного человека выделяет не чин, а опала.

Служа культу свободы, Пушкин, по сути, перекладывает в стихи существовавший миф. Ода «Вольность» пестрит именами богов и героев этой религии, которые, как и положено, пишутся с большой буквы — «Свобода, Судьба, Рабство, Слава, Закон, Власть». Абстрактные понятия здесь приобретают ту аллегоричность, которая позволяла старым художникам изображать смерть в виде скелета с косой. В принципе, из этой оды можно было бы сделать оперу.

Свобода раннего Пушкина спустилась с Олимпа тогдашней поэзии, который она делила с Вакхом и Эротом. Гражданская лирика была лишь частью тех веселых мистерий, которые, кроме фронды, включали в себя вино и женщин. При этом «гнет власти роковой» нужен автору не меньше, чем «минуты вольности святой». Власть и не может не быть роковой, потому что без нее не получится антитеза «свобода — рабство». А именно она оправдывала пыл, с которым Пушкин врвался в литературу.

Сам поэт относился к своей оппозиционности с достойным его гения легкомыслием. Письмо Мансурову, своему приятелю по «Зеленой лампе», он заканчивает таким образом: «Я люблю тебя — и ненавижу деспотизм. Прощай, лапочка. Сверчок». И когда он написал «И на обломках самовластья напишут наши имена», он, конечно, не имел в виду, что потомки поймут его так буквально.

Пушкин быстро отошел от образной системы декабристской мифологии, стремительно исчерпав ее возможности. Пышная богиня Вольность исчезает у Пушкина вместе с условностью его ранней поэзии.

Жадно осваивая современный ему Парнас, автор воспринимал его как данность, как нечто само собой разумеющееся. Стихотворная речь казалась ему не только естественной, но и неизбежной. Поэтические штампы были всего лишь условием игры. Никого же не удивляет, что в опере не говорят, а поют.

Пушкин принял поэзию целиком, со всеми лирическими «ужель», с волжским оканьем — «О юный праведник, О Занд», с общими местами — «И взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья». С готовыми формулами он обращался, как иконописец с традиционными деталями канона.

Главное было в другом: «Мои стихи, сливаясь и журча, текут...» То есть, создают красочный поток речи, где негде споткнуться, некогда перевести дух, где смысл служит подспорьем мелодическому напеву, как в той же опере, которую, кстати, можно слушать и на непонятном языке.

Но Пушкин с первых своих строчек ощущал конечность «пленительной сладости». Упиваясь ею, он предусмотрительно разбрасывал знаки будущего. Создавая русскую поэзию, он втайне закладывал мины, способные разрушить ее сладкую мелодичность.

Вот в «Разбойниках» два брата, скованные одной цепью, бросаются в реку и плывут: «Цепями общими гремим, бьем волны дружными ногами». Эти «дружные ноги» уже не укладываются в самого Пушкина. Их можно пропустить в замороженности пушкинским бельканто, но можно и замереть в недоумении перед этими призраками будущего поэтического авангарда.

Неожиданный эпитет Пушкина существует отдельно от конкретного контекста. Это стихи в стихах. Зашифрованный в одном определении образ, который потомки развернут в пространные метафоры. Память о будущем.

«Счастливые грехи», «в немой тени», «торжественную руку», «порабощенные бразды», «усталая секира», «мгновенный старик». Выписанные отдельно, эти эпитеты создают впечатление тайного послания адепта какого-то языческого культа.

Обычные предметы остраиваются и оживают — как отрезанная рука в голливудском триллере. Пушкин с великолепным произволом распоряжается категорией одушевленности. Стрелы у него «послушливые», парус «смиранный», лоза «насильственная». И даже человеческое тело расчленяется на отдельные, вполне самостоятельные части. «Сквозь чугунные перилы ножку дивную продень» — как будто речь идет о протезе.

Эта загадочная путаница объектов с субъектами отразилась и в несравненной пушкинской грамматике. Не зря он так любит пассивный залог: «в наслажденье, не отравляемом ничем», «как дай вам Бог любимой быть другим».

За всем этим проступает странная картина мира, тотально одушевленного и разъятого на части, каждая из которых важна сама по себе, каждая полна самостоятельной жизни. «За день мучения — награда мне ваша бледная рука». Так и живет по воле автора эта обрубленная стихом рука.

Почувствовав свою власть над миром, свою способность вдохнуть в него жизнь, Пушкин перестает интересоваться прежним, более узким пониманием свободы. Он видел, куда может привести декабристская мифология, которой уже отдал дань. Условный жаргон из оды «Вольность» наполнялся реальным смыслом для тех, кто принимал его всерьез. Кончалось это не только виселицей, но и плакатными стихами: «Любовь нейдет на ум: увы! Моя отчизна страждет, душа в волненье тяжких дум теперь одной свободы жаждет» (Рылеев).

Пушкин жаждал свободы, но не по Рылееву. Главным предметом его забот становится его гений. Чтобы он смог развиваться и воплотиться, Пушкину нужна была не столько политическая свобода, сколько личная независимость — чтобы никто не вмешивался в тонкий и загадочный механизм становления духовной мощи.

Наверное, его, как д'Артаньяна, устроили бы «времена меньшей свободы и большей независимости».

Свобода, которой Пушкин требовал для всех, теперь ему нужна для себя.

Дойдя до середины главной пушкинской книги — собрания его лирики — мы обнаружим в ней совсем другого героя. Пушкин сбрасывает вериги своего окружения. Обогнав всю современную литературу, которую он же и создал, поэт ищет подходящий ему престол. И его не смущает, что трон занят. «Выпьем за царя, он человек! Им власт-

вует мгновенье. Он раб молвы, сомнений и страстей». В трех строчках Пушкин низвел царя до простого человека и даже раба. А ведь когда-то царь был тираном и занимал место на Олимпе.

Молодой Пушкин с царем воевал. Зрелый Пушкин смотрит на него, как на равного. Антагонизм с государством кончается, потому что поэт и государство сливаются. Фронда теперь была бы нелепа — разросшийся Пушкин включил в себя Россию, не отвлекаясь на такие частности, как правительство. Отныне поэт и страна — одно целое, которое Пушкин называет «мы».

Этот переломный момент заметил мудрый Чаадаев: «Вот вы, наконец, и национальный поэт, вы, наконец, угадали свое призвание». Стихи, вызвавшие восторг Чаадаева, назывались «Клеветникам России».

Однако, дело не в том, что Пушкин воспел подавление польской свободы, не в том, что он грозил своей возлюбленной Европе, не в том, что силу противопоставлял духу. Пушкин дошел до нового осознания свободы — свободы как необходимости. Будучи голосом своей державы, он и пел державу. Как Гомер, который не задавался вопросом о справедливости притязаний ахейцев на Троию.

Звание «русского певца» позволяло Пушкину упрекать Запад: «И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир». Когда-то поэт готов был за вольность проливать свою кровь. Теперь он требовал крови Европы. Он перерос проблемы домашней вольности. Гений Пушкина не знал остановок. В его стихах Россия обрела свой голос. Она говорила с миром твердо, не заискивая. Вот когда Пушкин мог написать стихи для государственного гимна.

Но став национальным поэтом, слив свое «я» в общенародное «мы», Пушкин ощутил ограниченность и этого положения.

К концу книги все чаще появляются античные призраки. Как будто виток спирали возвращает поэта к кумирам его юности. Но это не та античность, что населяла первые страницы аллегорическими фигурами языческого пантеона.

Теперь он находит в античности древнюю тайну единства тела и души. Пушкину, которому всегда был так близок пантеистский идеал одушевленного мира, находит благородный образец в античном покое.

Пьяной горечью Фалерна
Чашу мне наполни, мальчик!
Так Постумия велела,
Председательница оргий...

Всю жизнь Пушкин завоевывал мир, теперь он в нем растворяется. Он уходит в размер стиха, сливается с его вечным ритмом. Превзойдя вольность, страсть, поэзию, царя, родину, историю, поэт нашел, наконец, достойноеместилище своему гению — природу, мир, космос.

В стихотворении «Осень» Пушкин устраивает прощальный парад своих идеалов. Смена времен года здесь — знак того, ниспосланного свыше ритма, которому — единственно — подчиняется поэт. Таинство размеренной жизни, восхищение перед разумностью ее устройства, наслаждение мудрой последовательностью вещей — вот та гармония, которая объединила и заменила все прежние свободы Пушкина.

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны,
Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет. Куда ж нам плыть?

Плыть некуда, потому что путь завершен. Поэт вернулся к источнику своего вдохновения. И оказалось, что источник этот равен вселенной. И что любая часть этой вселенной равноправна и вечна, что нет у нее ни пространства, ни времени — она везде и всегда.

На последних страницах поэт прощается. Он чувствует, что, сливаясь с космосом, теряет свою индивидуальную жизнь. Но смерть ли это? «Нет, — говорит поэт, — весь я не умру». Мир принял в себя Пушкина. Его гений полностью воплотился — он стал всемирным.

Найдя свою дорогу, Пушкин указал путь для избранных. От мятежного вольнолюбия до последнего примирения, от веселой борьбы к мудрому покою, от Брута к Горацию.

Не тем ли путем идет по нашей литературе Иосиф Бродский? Гармония личности и космоса, одушевленность вселенной, подчинение ее ритму, находящему адекватное воплощение лишь в речи поэта: «Воздух — вещь языка. Небосвод — хор согласных и гласных молекул, в просторечии — душ».

Трудно найти в русской поэзии стихи, которые были бы ближе пушкинскому духу, чем эти строчки из лучшего сборника Бродского, не случайно названного именем Урании, музы, ближе всех стоящей к вечности.